

Иван ОБРАЗЦОВ

НЕРВНАЯ КЛЕТКА

Глава 1

«Бог есть свет, и нет в нём никакой тьмы»

1 Ин. 1:5

Владимир стоял, уперевшись лбом в стену. Он вспоминал, точнее, болезненно морщился от ударившей в голову откуда-то из груди всколыхнутой, эхом подводным пронесшейся памяти. Давно, очень давно это было, лет двадцать, а то и больше прошло. А вот сейчас плохо стало так по-новому, словно по вот случившемся. И мерзко, и нечисто, и прошедшие годы только увеличивали тяжесть и стыд. Тот их неродившийся, тот человек, ведь, по сути, они ж его просто-напросто убили. Как факт, без заламывания рук, без всяких расхожих фраз — убили.

Вот как так? Как один человек убивает другого? Ну, в ссоре какой или из выгоды, мести, и вообще из всего такого, по-взрослому человеческого, верно ведь? Ну, ещё война, зверства оккупаций, диктатура, что там ещё-то бывает? Только тогда ведь обычно как, тогда все стороны как-то уже что-то уже успели, хоть немного понаделать, посмотреть вокруг, воздухом подышать, хоть немного, расстроить и порадовать кого-нибудь уже успели. Так ведь? Даже кричать в конце концов от боли и обиды могут. Даже и сопротивляться, а то и сами в ответ прибьют убийцу-то какого-нибудь неуклюжего.

А они-то ведь тогда, они-то тогда убили по-другому, не так убили, как в сводках криминальных убивают. Они ж убили человека там, внутри, когда он только от них и их забот и зависел, когда он весь им доверен был и доверился. Он же даже ничего не смог бы закричать, даже если бы и захотел, просто физически не смог бы оттуда, изнутри. А их, убийц, их было и двое, и взрослых людей на одного единственного незрелого. Всегда, наверное, двое бывает таких душегубов-то.

Как-то подло, как-то мелко-трусливо убили, а сейчас вот вдруг вспомнилось.

Владимир стоял, уперевшись лбом в легендарную Стену плача. Неожиданно стало ясно и понятно, что стена такая стоит по всей земле и по всей земле плач и скрежет зубов. Больше всего оказалось, что плач не его, не здесь/сейчас слышный, а плач какой-то укоряющий, то ли изнутри, то ли сверху. Он почувствовал на щеках слёзы, но рыданий не было, только какой-то идущий естественно процесс, словно свидетельство вины.

Но вдруг, среди этого мрака, среди всей нечистоты скользнул неяркий, но освежающий душу свет, словно маленькая щелочка приоткрылась, и там было что-то большее, чем солнечное освещение.

Этот свет стирал пелену с глаз, снимал многолетние, вековые коросты с сердец. Владимир вспомнил теперь всем сердцем слова Евангелия: «Царствие Небесное, оно внутри вас есть».

Господи, прости меня, прости, Господи! — это всё, что было сейчас в нём. Это всё, что сейчас он мог проживать. Тем, краем увиденным, мягким и согревающим, как утроба матери, тем немислимым, невесомым, но именно Светом он не стал невиновен, но стало возможно прощение, появилась надежда, появился какой-то непроницаемый смысл. И это принесло утешение. Зёрнышко надежды было посеяно в нём, надежда была даром родителя ребёнку, помощью и укреплению.

Владимир почувствовал всем собой, как разливается по миру свет, и пришла волна благодарности. Он вдруг захотел что-то сделать, что-то непременно сделать для Него. Были силы, были деньги, и ещё длилась эта жизнь, сделать Владимир хотел и мог.

Слова нашёл только такие, словно прочитанные, да и вообще на бумаге они навер-

няка окажутся мертвее. Но в тот момент, внутри, где-то в самой глубине души, слова эти произносились совершенно естественно:

«Господи, я вернусь домой и даю Тебе обет, и нет во мне ни малой мысли о собственной славе, но одно сделаю — поставлю храм. Поставлю во славу Твою, чтобы служили там молебны о чадородии, чтобы хоть одно дитя спаслось. Господи, я не знаю, каким будет этот храм, но благослови на одно, чтобы там было много света!»

Глава 2

*«Птичий рынок покупает-продаёт!
И на вас я, сизари и пуделя,
Всё истрачу до последнего рубля...»*
Слова из песни

Почему птичий рынок назывался «птичий», Вовка Трофимов не знал. С раннего утра здесь выстраивались ряды клеток, в которых сидели попугаи, голуби, скворцы, кролики, хомяки, белые крысы и прочая живность. Здесь продавали щенков и котят, аквариумных рыбок и рыбий корм, ошейники и намордники, клетки и аквариумы. Но то ли из-за крикливых попугаев, то ли из-за говорливых скворцов рынок когда-то назвали птичьим, да так и осталось.

Клетка у Вовки была что надо — крепкая, ладно подогнанная, и чтобы продать пойманного в ней снегиря, он бережно нёс клетку перед собой. Стараясь быстрее проскочить самые тесные ряды, он был уже почти у выхода на свободную торговую аллею, когда непонятно откуда перед ним вывалился табор малолетних цыганят. Грязные, сопливые малолетки, но главным у них был длинный — цыган-подросток с наглыми глазами и резкими движениями. Окружив Вовку, вся эта шайка уставилась на клетку в его руках, лопоча между собой на своём тарабарском языке.

— Тебе чё тут надо, а? — загородил дорогу длинный. Он узловатыми, замусоленными пальцами потрогал клетку. — Торгуешь, да?

Вовка молчал, нахмурившись, держал перед собой клетку и чувствовал, как внутри поднимается горячая волна напряжения.

— Не местный, да? Клетку дай-ка гляну, — цыган потянул клетку на себя.

— Чё глядеть, клетка как клетка, — глухо проговорил Вовка.

— Дай сюда, сам гляну, — длинный рванул клетку на себя, и она оказалась зажата в его костистых кулаках. Не глядя, он передал клетку дальше, и, схватив её, маленький цыганёнок побежал к выходу, резко свернул за деревянные сараи складов и пропал из вида.

Словно сразу потеряв интерес, маленькая шайка грабителей двинулась дальше по рядам, оставив Вовку стоять и трястись от бессильной злобы, позора и осознания безвозвратной потери имущества. Опомнившись, он быстрыми, сбивчивыми шагами пошёл прямо.

Он почти бежал, низко опустив голову, и казалось, что каждый встречный знает о его позоре. Ярость кипела в животе горячим трясущимся комком, а в голове беспорядочно громоздились образы разбитых цыганских лиц.

«В кровь... суки... в мясо... до красных соплей... чтоб ползал, гнида... умолял и охреневал, — Вовку колотило. — Чтобы палкой поганую гадину забить, ногами... до смерти... каждого, цепью от бензопилы... до мяса... суки... суки... — ненависть была в голову, и с дикими глазами Вовка уже бежал по улице, желая только одного: — Чтобы они сдохли, все сдохли, суки, твари поганые!»

Дома был отец.

— Ну, как успехи, продался твой красногрудый?

— Не успел.

— В каком это смысле? — отец отложил газету и вопросительно посмотрел на Вовку.

— Цыгане забрали на входе, — Вовка с детства усвоил, что необходимо говорить о проблеме коротко и конкретно.

— Так, — отец поднялся и надел куртку. — Пойдём-ка, посмотрим на этих похитителей птиц. И соседа пригласим с нами на экскурсию.

Недалеко от них жил знакомый отца — дядя Коля. Вся улица знала, что он опасный и серьёзно сидевший мужик.

— Цыгане, а? — дядя Коля даже усмехнулся. — Ну, совсем борзые стали, сейчас решим, не бойсь, малой, а? Уж этих-то залётных мы знаем где искать.

Вовка заметил, что дядя Коля легко подбросил себе в карман телогрейки лагерный нож-выкидуху.

* * *

В цыганском доме пахло прелостью и грязным бельём, вся орава цыганят сидела на полу по углам и щелям, клетка со снегирём стояла в углу.

— Ну чё, чернопуые, а? Дельце-то гнилое, а? Пацанёнка-то, а? Пацана-то моего задели зачем? Перепутали чё-то, а?

Дядя Коля достал выкидуху, стал вертеть её в пальцах большой крепкой ладони. Было видно, что это не дешёвые понты, хотя и понятно, что никого он пока здесь ножиком щекотать не планировал. Оттого что дядя Коля всё время словно переспрашивал, становилось как-то жутковато.

Он подошёл в угол, поднял клетку, внутри сжался снегирь:

— Твой, а? — Вовка кивнул. Дядя Коля обернулся на цыганят: — Ещё раз троните пацана, говорить не буду. Ясно, а? — сплюнул какую-то шелуху из зубов. Они вышли на свежий морозный воздух, клетку Вовка нёс перед собой. — А снегирь-то красавец какой, а? Вот в клетке только задохнется? Птица-то вольная, — дядя Коля выразительно посмотрел на Вовку. — Да и рынок этот, «петушиный», гнилой он какой-то, базар этот, ты б как-то это... — и, не договорив, повернулся и пошёл к своим воротам.

Придя домой, Вовка вышел в огород за домом и посмотрел на снегиря, тот сидел, сжавшись, и казался немного очумевшим от столь неожиданных поворотов судьбы.

— Ладно, братец, ты уж не обессудь, — Вовка открыл дверцу клетки, но снегирь сидел не шелохнувшись.

— Да не бойся ты, лети давай по своим делам, — снегирь сидел, вжавшись в угол.

— Ладно, — Вовка закрыл дверцу.

Вокруг было белым-бело от снега, и кристальное прозрачное и морозное небо вдруг наполнило такой радостью, что Вовка ещё некоторое время стоял, ошеломлённый небесной широтой.

На следующее утро он шёл на птичий рынок, неся перед собой клетку с красногрудым снегирём. У ларьков на входе стояла кучка вчерашних цыганят. Вовка хмуро глянул на них, хотя злобы уже давно не было, даже жалко стало этих грязных ребятишек.

Снегирия он продал в тот же день.

Глава 3

Вовка Трофимов мог вдруг вскипеть, и одноклассники его остерегались за такую резкость в характере. В классе он ни с кем особо не дружил, тем более никогда не искал славы школьных авторитетов. Делами своими делиться не имел привычки, но и при всей гневливости в передрягах и драках замечен не был. Кроме одного случая.

Однажды кто-то решил пошутить и избороздил меловыми росчерками большинство спинок на классных стульях. Когда Вовка увидел свой известково-напудренный стул, то оглянулся вокруг. На «камчатке» сидел одноклассник Серёжа и, ухмыляясь, подглядывал за входящими в класс. Было понятно, что он и есть тот самый шутник. Серёжа был наглым и сильным идиотом, в классе с ним никто не связывался, а Вовке просто не приходилось, так как до этого момента не было повода.

Вовка подошел к Серёже и сказал только два слова: «Стул вытри». Тот сидел и глупо скалился — он был такой тупо-расслабленный, ведь никакой угрозы в словах вроде бы не было. Вовка дал ему еще пять секунд, а потом развернулся и вышел из класса.

Через несколько минут он вернулся и уже стоял у своего стула с ведром для мытья полов и какой-то тряпкой синего цвета с белыми и красными полосками. Он тщательно вытер этой сухой тряпкой свой стул, потом окунул её в половое ведро одним концом и подошёл к ещё ничего не понимающему шутнику. Только тогда Серёжа с ужасом узнал в тряпке свои спортивные трико из физкультурной раздевалки. Но не успел он открыть рот, как ведро грязной воды вместе с трико были опрокинуты ему на голову. Вовка медленно вылил остатки воды в раскрытый портфель одноклассника и поставил уже пустое ведро ему на парту. Глухим голосом прохрипел, еле сдерживая ярость и желание разmozжить голову любителю тупых шуток: «В следующий раз бензином оболью и подожгу, понял!»

Больше никто никогда за все школьные годы не шутил с Вовкой, даже на словах. Конечно, отец был вызван к директору, и только чудом не дошло до комнаты по делам несовершеннолетних. Но всё обошлось, ведь других таких моментов ни раньше, ни после с участием Вовки уже не случилось.

* * *

Учёба в школе с самого начала как-то не заладилась, хотя на твердые тройки всегда удавалось тянуть. Впрочем, как и многие пацаны его возраста, два предмета Вовка всегда сдавал хорошо — труд и физкультура. Но был еще один предмет, на который Владимир Трофимов приходил каждый раз с ожиданием чуда.

Вовка рос здоровым и крепким телом, да и умом слаб не был. Сложно было тогда понять подростку саму схему, по которой складывается так, что на большинстве уроков учиться не хотелось, а уроки тянулись так нестерпимо медленно, словно сквозь классную комнату пролетала не стрела времени, а сочилась вязкая невкусная каша. И не могла эта каша происходить от лени, не могла иметь источником их подростковые здоровые тела и сердца, готовые, словно пружина, стремительно развернуться в любой момент, как только в каше появился просвет.

Звонок на перемену всегда радовал именно школьников и почти никогда педагогов. И если разобраться, то яростный, чёткий и ритмичный звонок на перемену был по духу своему ближе, даже роднее, таким же бойким и жарким сердцам подростков. Вот и радовалась школото всех классов, искренне несясь по коридорам, вопя и задирая друг друга просто от радостной силы, что росла в них.

А учёба — про неё Вовке было понятно, что дело это нужное, что правильное и полезное это всё дело. И напрасно выводили преподаватели красными чернилами частые вердикты в дневниках, что «ленится, безответственный, относится с малым уважением». Напрасно писали родителям эти красные лозунги, напрасно убеждали при встречах, что чадо ваше в учёбе не имеет терпения, а то и просто урок мимо ушей пропускает. Напрасно повторяли набившее оскомину: «Ребёнок ваш умный, но ему не хватает того-то или сего-то». Дальше шли варианты: смотрел в окно, спал, рисовал в дневнике рожицы или какие-то узоры и т.д. Напрасно всё кочевали эти стандартные красные вердикты по страницам дневников из года в год. Любви к учёбе в виде школьных тягучих занятий это не прибавляло, хоть ремень отцовский, хоть мамины грустные глаза на ребёнке применяй, а ему хоть кол на голове теши, всё едино — улица да дела свои детские важнее любых уроков.

Но чудом для Вовки был тот самый урок, где сидели и слушали во все уши, добровольно, внимательно загораясь глазами от некоторых историй и словно проживая их наяву. Самое поразительное открытие, которое Владимир сделал уже через три десятка лет, что он помнил все даты исторических событий и даже основные имена их участников, — да, чудом для их класса был урок истории.

Только став старше и уже управляя своим бизнесом, Владимир Павлович понял, почему учёба так и осталась в школьном аттестате отмечена тяжеловесными тройками и редкими четверками. На самом деле, школьные годы, за редким исключением, вспоминались сейчас равнодушно. Только помнилось, как радостно бежал в первый свой класс, неся перед собой чистый праздничный букет белоснежных хризантем для учительницы. Он бежал и представлял, что учёба — это радостное, таинственное и взрослое приключение, где он узнает тайны чисел, букв. И законы мира откроются ему в школе, после которой он станет взрослым и знающим ответы на многие вопросы, что так станет не малышнёй, а серьёзным человеком.

Пожалуй, каждый ребёнок испытывает светлые и радостные чувства, идя с букетом 1 сентября в свой первый школьный день. И ещё есть у ребёнка в этот момент надежда, что всё из мечт о школе там, в школе, теперь увидит, и сбудутся все его радостные надежды как-то легко, и никто его не обидит из учителей, никто не подведёт.

Но в результате школа постепенно превращалась в какую-то тягучую рутину. И лишь вот этот урок истории показал уже через много лет, что дело было не в них самих, учениках, точнее, не только в них. Дело было и в том, что в школе были либо «учитель», либо «педагог» — первых оказывается всегда так мало. Но если рассказывал свой урок учитель, то детское сердце загоралось и слушало так внимательно, впитывало каждое слово так жадно, что никаким аттестатом нельзя зафиксировать, зато результат всегда реальнее любого документа. Педагоги же пересказывали уже известный материал, и детская душа чувствовала этот равнодушный технический пересказ, не отзываясь на него ничем, кроме скуки сердца и дремоты тела.

Конечно, дело не в том, что Владимиру хотелось сейчас обвинить этих несчастных педагогов, ведь у них тоже были свои заботы и, наверное, будут всегда, но простую истину, что есть учитель, а есть преподаватель-педагог и это очень разные категории — эту истину Владимир усвоил на всю жизнь.

Предмет «история» у них вёл как раз учитель. Огромная, некрасивая, с овальным дряблым лицом женщина. За внешностью дети прозвали учительницу истории «жаба». Но стоило «жабе» начать урок, как через пару минут она исчезала и говорил учитель, а весь класс сидел затаив дыхание, словно погружаясь в какой-то неведомый мир, в то

самое приключение, что представляло детское воображение, когда тело шло в первый класс.

На переменах же дети разбегались и опять звали её «жабой».

И только сильный шутник Серёжа выпадал из общего восторга на уроках истории, продолжая тыркать кулаком соседей по партам.

Глава 4

*«Над небом голубым
есть Город Золотой...»*

Из стихотворения Анри Волхонского

— Настоящее счастье получает только тот, кто усвоил опыт личного несчастья!

Павел сделал убедительные глаза и назидательно постучал пальцем по виску, после чего навёл указующий перст на Трофимова.

— Ну да, ну да, а как же, ну хоть Сергей Радонежский?

— А при чём здесь Радонежский, он же святой.

— И что? Святым-то он после стал.

— Значит, что-то было, раньше или в юности.

— Да нет, это значит, что ты в интернете много жужелоков разных читаешь.

— Каких жужелоков, они вообще-то жужелецы правильно называются, насекомые такие, жуки, они-то вообще здесь при чём?

— Не «жужелец», а «жужелоков», жужат которые в уши, образно так жужат. Ну, типа, — Трофимов пафосно изменил голос, — только у нас, главные мудрости великих людей за 15 минут, стань великим минутчиком.

— Да пошёл ты, — Павел обиделся.

Трофимов аккуратно смахнул со стола в ладонь несколько хлебных крошек и бросил их в мусорное ведро.

Зажужжало, зазудело, забормотало изнутри телеприёмника и давай расчесывать экземные коросты на нервной системе и патриотической аллергии российских граждан: «...Население современного российского государства всё больше становится демократичным именно по-русски. Это выражается в том, что общество всего российского народонаселения, переписанного и учтённого последней переписью, но, при всей кое-как переписывательной организованности на бумаге, это народонаселение никак не вписывается в единую категорию народа...»

Муха влетела в открытое окно. Муха жужжала низко и глухо, размером своим была с доброго шмеля. Октябрьские мухи всегда жирели и жужжали у самого пола, а выгнать их в окно оказывалось так же непросто, как и прибить мухобойкой.

«...Это настолько безнадежное дело, что власти уже пробовали старый испытанный, хоть и закончившийся крахом, эксперимент по переименованию русских и представителей иных наций, являющихся гражданами России, — настоятельно приучить население к наименованию «россияне». Но это с самого начала имело небольшой успех, так как ещё недавняя память жила неудачей построения советского будущего народом под наименованием «советский». Возможно, по этой причине, или по каким ещё, но Россия сегодня всё яростнее нуждается в слове, которым можно временно пользоваться для краткости...»

«Тварь какая», — Владимир Павлович попробовал прогнать муху взмахами кухонного полотенца, но та забила в неизвестное место и только периодически выныривала перед глазами, чтобы опять пропасть наглухо из вида.

«...Разумеется, в истории российской государственности были различные конфигурации, которые принимали то граждане, то население, то просто народ, но каждый раз эти конфигурации оказывались с самыми трагическими судьбами в финале. Причём финал наступал практически одновременно и для российских подданных, и для российской государственной власти — этакий пафос и единство всех россиян перед историческим процессом. Как остроумно заметил один счастливый обладатель известной в широких литературных кругах узкой нелитературной премии с политическим заявлением (заметил в торжественной обстановке посланий от лауреата), что по России прокатилось красное колесо, но теперь покатится колесо жёлтое. Так вот, он, лауреат, практически дожид до того исторического момента, когда жёлтое колесо, прокатившись по русским территориям, оказалось вдруг подхвачено ловкими руками голи, которая на выдумки хитра буквально, то есть практическая польза колеса стала

очевидной, когда его сделали каруселью...»

«Нет, ну ты посмотри, какая сволочь-то. Давай уже лети отсюда, ведь пришибу же, дура», — муха реально надоела своей неадекватностью поведения, и Трофимов уже решил было действовать системно.

«...Карусель в глазах рядового жителя страны выглядела в одной, а в глазах крутящих её лиц совсем в другой плоскости. Если первые смотрели на голубые экраны, то вид, открытый участниками некогда ловкого подхвата колеса оказался более повернутым к истоку, но приобрёл смысл не колеса, а выгодной мельничной машины. Мельница — совсем иной тип крутящегося тела, и она не для пустых и отводящих внимание целей, а для цели одной-единственной — экономического роста отдельного слоя общества, который богатеет, и скорость роста его богатств никак не совпадает со скоростью культурного отношения к состоянию, уже не в миллионах, а в миллиардах иностранных валютных единиц исчисляемому. Некоторым представителям верхнего государственного чиновничества приходится даже иметь дело с суммами, которые исчисляются либо триллионами, либо более ёмкой и ненарочито-громкой численностью процентов от чего-либо...»

«Ну, всё, животное, ты меня уже доконала своей назойливостью», — Владимир Павлович заметил, как муха прожужжала в зал, и плотно перекрыл дверью перелёты между комнатами.

«...Так вот, о слове, о том точном выражении в термине определённого спецконтингента на территории РФ. Это слово, созданное методом быстрого соединения, структурно передаёт ту контрастную ситуацию, которую пытается определять незамысловатой своей формой и презрительно небрежными швами правил сшитое составление. В общем, слово, наделённое необходимым минимумом языковых правил. Говоря солиднее, этакий некий утешительный для носителя глубоких филологических знаний гражданина неологизм, который звучит как-то дико и самой своей дикостью фонетической отражает суть явления — спецконтингент весь и сразу лучше называть «беднобогое население».

Беднобогое не имеет механизма плавного перехода из демократически бедных в демократично богатые социальные и все прочие применимые к этому капиталосоставляющему различию категории, которые приняты между гражданами демократичного и справедливого общества, коим российское именуется с трибун для мирового, но по-российски понимаемого дискурса...»

Жирная муха замерла на шторе. Свёрнутый кусок толстой обёрточной бумаги оказался единственным возможным орудием убийства (в такие моменты часто оказывается, что ни специально купленной мухобойки, ни ненужной литературы под рукой нет, и приходится потихоньку сгребать в свёрток что-то совершенно случайное). Р-р-ра-аз! Муха и в смерти напакостила, размазавшись гноистыми внутренностями по шторе.

«Сука такая», — Владимир Павлович Трофимов выключил телевизор и пошёл в магазин за ряженкой и кукурузными хлопьями.

Глава 5

«Нет, ничего нет...»

Слова одного из персонажей в фильме Ридли Скотта «Прометей»

— Владимир, друг мой дорогой, куда летит Русь-тройка, уже давно никого не интересуется.

— Ну, уж ты не скажи, мне вот вполне себе интересно. Да и ты, если так уверенно взялся утверждать, то хоть сам-то понял почему, ведь понять надо бы, почему такое упадническое настроение.

— А потому, что думать об этом и вообще обо всём таком русском и троичном больно, обидно и бессмысленно тяжело. Даже если кто и заговорит обо всём этаким, то с такой злостью, что всё неизбежно скатывается в одно и то же — Россию давно продали, а тот, который там, на самом вершине, — он имеет столько много, что и уйти сейчас уже никак нельзя — привык и боится. Уйди, и вчерашние «свои» сожрут со всей требухой, ещё и памятник красивый поставят. Вот он-то и ведёт Русь-тройку куда-то ему одному известными и знамыми путями. А что ни путь, то всё мрак и скрежет зубовный — это и есть путь того верхнего путевода и России нижней путеводимой. Вот так сегодня намертво — Россия и её путевода — пристыли друг к другу, а все их два смысла взаимно погасились до полной потери значения.

— Хорош, хорош, мне и по телеку красноречий подобных хватает, — Владимир

Павлович махнул рукой с какой-то безнадежностью.

— Да что хорош-то. Ты пойми, что простой русский гражданин ни о какой русской тройке или гоголевских бесовщиной пропахших романах особо не склонен думать. Если уж обобщать, так оно окажется, что по правде-то и нет никакого смысла, кроме тех кусков самодовольной плоти, которые красочно шевелятся на широкороссийских экранях.

— Фу, жуть какая. Ты, Паша, сгущаешь как-то, депрессивно на вещи смотришь, — Трофимов не особо хотел политизированно рассуждать, но болтовню соседа, в принципе, послушать и немного поддержать труда не составляло.

— Друг мой, жуть такая повседневна, только никому она уже не лезет в глаза. Жуть научилась быть ангельски светлой и справедливо ущемленной в правах. Обыватель, если вдруг заводит разговоры о политических путях страны, то злостно не имеет своего мнения. Современный русский вообще ничего своего не имеет, ни мнения, ни достатка, ни стабильной работы, и можно уже сказать, что и ни русской души. Но парадокс в том, что отсутствие всего настойчиво не замечается, а слепота эта просто переименована русским терпением. Оно и есть единственное, чем живёт человек в современной России. Да ещё верой в то, что у него-то как раз есть своё мнение, а достаток и стабильная работа есть потенциально, только они узурпированы кучкой жуликов и воров, — Павел поймал волну вдохновенного философствования. — Фокус простой — достаточно периодически выталкивать кого-то сверху вниз с необходимыми программными возмущениями о несправедливости. Граждане слушают очередного «разоблачителя» и в процессе слушания прожигают свой революцией в стакане души, после чего расходятся с твёрдым чувством выполненного долга. На остальное им не оставлено времени, а потому никаких поворотов на пути продвижения у России не планируется.

— Слушай, ну, так это совсем какой-то беспросвет, такой полный и огромный, — Трофимов бросал фразу так, для отскока, чтобы не казаться отсутствующим, но, в общем-то, не очень и следил за хитросплетениями мысли Павла. Может, потому следующая фраза выдернула его из эмпирических интеллектуально-приличных потоков расслабона и неприятно мазнула чем-то жирнопахущим.

— Не скажи, здесь не о тепле для попы речь, а о духовности. Для русской духовности мрак и слякоть — самые естественные тренажёры духа. А Русь-тройка... — Павел на мгновение задумался. — Это, в конце концов, только художественное преувеличение. Так этот образ и летит по бездорожью, звеня бубенцами и разбивая копытами дорожное полотно. Мы сами и есть те, кто разбивает ровный европейский асфальт, но латинский ум никак не может отличить варварства от духовного подвига. А сверху... Ты не думай, что правителю обязательно понимать смысл вот так, как я сейчас описал. Может править Русью и, значит, не понимать до конца умом русскую дорожную карту, но двигаться по ней уверенно, без латинско-разумных на то оснований.

— Так ты же сказал, что тот, главный, не уходит от страха, ну и от набранного себе бонуса. Что-то не вяжется это с картинкой твоей же, ну или как-то противоречивенько получается.

— Всё правильно, какое же здесь противоречие. Даже тот самый, который на самом верху, даже он не знает — куда же несётся Россия-матушка, в какие дали-выси взвьётся тройка, гривой клубясь. Так непостижимая тайна русской души опять остаётся неоткрытой, и такая тоска русская, когда либо в петлю лезь, либо песню пой. Вот и не уходит от тоски и душевного стремления в дали-выси, а то и от смятения той же души.

Помолчали. Выпили.

— Знаешь, самые религиозные люди в Российской Федерации, Вова, это те, кто верит в телевизор, — Павел начал подходить к состоянию осования.

Помолчали. Выпили ещё по одной.

— Всё одно-о-о — ру-у-усское по-о-оле, — пропел Павел тихонько и добавил, повернувшись к Трофимову: — Неприкаянное и широкое поле это... Пойду, жена ругаться и так будет.

— Давай, — Владимир не вставая подал руку. — Ты там захлопни, ладно?

— Ага, — Павел зевнул и пошёл из кухни.

Трофимову нужны были тишина и герметичность. Нужны были срочно и, конечно же, никак не давались.

Может, пойти в лес, полежать на хвое и услышать запах прошлогодних листьев. Вдруг вспомнил дачу, как сидел на крыльце бани и смотрел на яблоню. Дерево стояло одно у самого забора, и это одиночество яблони Трофимов неожиданно почувствовал, разделил.

Он тогда понял: «Вот стоит она и каждую осень бросает вокруг себя яблоки. Бросает в надежде, что рядом прорастёт молодой побег, а там и станет стволом с крепкими корнями и зелёными листиками. Однажды листья перестанут ждать и дадут место

белым цветкам. Яблоня зацветёт в первый свой раз, и тогда одиночество закончится. Можно будет шуметь листьями и рассказывать друг другу о ветре и о чём угодно.

Из года в год старая яблоня бросает на землю плоды. Но дачник убирает их, покрывает извёстью яблоневый ствол и уходит. Яблоня остаётся одна.

Но на следующий год она опять бросит на землю плоды и, может быть, одиночество закончится. Яблоня, как и человек, живёт надеждой. И надежда никогда не может умереть, а кто говорит такое, тот просто не знает надежды.

Надежда умирает последней — красивая и бессмысленная финтифлюшка из слов, не более. У человечества вообще всё меньше остаётся настоящих слов, всё больше конструкций из болтовни. Этакие красоты вроде павлиньего хвоста. Монологи павлиньих хвостов стали даже очень доходным делом для трансляции неких шаблонов о мнимой реальности. Вот эти павлиньи конструкции и есть то самое мнение, которое гражданин считает «своим», а значит, единственно правильным».

Трофимов провёл ладонью по кухонному столу, смахнув несколько хлебных крошек на ладонь, и бросил в раковину.

«Так и плывёт Русь-тройка в полнейшую экзистенциальность, где ни о каких смыслах уже не думается, только тоска непонятно о чём, и песня какая-нибудь глупая в голове вертится».

Глава 6

*«Но и утром всё не так,
Нет того веселия...»*
Владимир Высоцкий

Владимир Трофимов давно повзрослел. Он сидел не дыша — боялся. Скрежещущие, но не звуками, а искрами, точечные уколы вспыхивали, царапали внутри головы. Звук и изображение слились в один общий призрак — тотальный и невыносимый. При всех таких болезненных качествах это явление чуть заметно оказывалось желанным.

Городские обитатели — крикливый и шумный вид хомо сапиенса, который создаёт настолько много бесполезного шума, что, обнаружив малейший признак тишины, начинает хаотично наполнять пространство музыкой из телефона, аудиосистемы или просто начинает громко произносить разные словесные конструкции. Трепыхающийся на ветру обрезок пластиковой полторалитровой бутылки, надетый на заборные штыри, отпугивает ворон и сорок — он больше имеет значения, чем шум городского фона.

Нет ничего безнадежнее, чем знать о бессмысленности всего этого окружающего человеческого звуковоспроизведения и такого же не имеющего никаких обязательств монолога внутри собственной черепной коробки. Трофимову не нужно было объяснять, что надо день простоять и ночь продержаться, после чего наступает волна покоя и тишины. Пока же никакого просвета не было.

«Хотя это-то как раз хорошо», — Трофимов не был в алкоголизме дилетантом. Совпасть так, чтобы вот в самый раз — приглушить свет до той идеальной точки, когда происходит совпадение освещения извне и покоя внутри. Но с каждым годом ему всё реже давалась эта точка полной синхронизации с миром. Спротивление мира оставалось прежним, но то ли привычка, то ли рутинка — но всё чаще Трофимов вдруг открывал внутри себя беспокойное «не хватало», ему хотелось затемнения всего — звуков, изображений, жестов живых рук, глаз, тела, чтобы предметы и вещи затихли вместе со всеми смыслами и бессмысленностью.

Мир никак не мог затихнуть и приглушить себя, навязчиво мельтешил осколками света на стенах. Даже на внутренней стороне век демонстрировался сеанс всполохов, и потому закрытыми глазами спастись было бессмысленно.

Здравствуй и прощай, завтра будет лучше... — там, где обычно нормальные слова возникали и веско значили человеческую речь, сейчас крутилось нечто липкое из двух строк бесконечным замкнутым кругом...

Известна с самых древних времён та схема, неизменность которой гарантирует, что результаты стабильны на протяжении тысячи лет до тех пор, пока человечество носит на себе рабские невидимые наручники, путы, цепи, оковы — всё то слабое ленью души, что снаружи прорастает различными подлостями, горделивым накоплением денег, вещей, грамот от начальника и всего того, что каждый век не меняет, а лишь оформляет всё в более дорогие и стильные философские, гуманистические или по-соседски практические оправдания.

Не каждому лично, может быть, приходится узнать и пройти такой страшный путь,

но даже те, кто сорвались с кривоногих тропинок пьяного дурмана, даже они знают точно о том, что в простонародье кличут похмельем, в наркологичке — интоксикацией, — это не название физиологического состояния человеческой плоти. Разве что совсем только одуревшие от запоев просто могут уже не соображать, и в большей части это означает скорый край чернеющей ямы, где такому предстоит побывать уже бесповоротно. Такие вообще перестают, проснувшись, представлять умом вообще что-либо, ибо сон их уже не прекращается, а только переходит в стадию движущихся по кругу шмелей, собирающих утреннюю росу и нектар, а к вечеру забивающихся в щели укрытий.

Человек становятся пьяницей. Сегодня это уже называют ребрендинговыми новыми словами, но в целом история сводится всегда к общему слову «алкоголики» — народная речь снизу внесла свою лепту в русский язык, наделив это обозначение бытовой вонючей реальностью. Интеллигентная же и умная голова нарколога лишь приукрасила более благозвучным для диссертаций и статей прилагательным «алкоголизм» и производными вроде алкогелезависимый, даже некий графоманский термин «спиртозависимый» уже где-то мелькнет, на пробу, а то и в будущее направление наркологических отдельных исследований по различению зависимости от алкоголя и от чистого спирта. И придумают ещё слов, когда старые приедятся в томах медицинских энциклопедий и будут выглядеть прошлым веком, ещё знающим меньше и технически слабее оснащённым.

Не просто надоедят старые термины, надоест, как обычно, их тяжеловесность и затисканность в языке, потому назовут алкаша ещё более изящным словом, тем и себе приятно, и больного зависимостью не обижаешь. Если, например, пьяница — это что-то уличное, кабацкое, скандалящее женским истеричным и ненавистным безумием, то алкоголик, несомненно, был сформулирован людьми образованными, культурными и тонко понимающими разницу слов. Слово «пьяница» немисливо даже подумать было применить в научной статье, в научной среде. Тем более, словом грубым, размытым смыслами от грузчика до пьющего писателя и хирурга нельзя определить точную категорию пациентов наркологии.

Зато алкоголизм — это уже не нарицание лично к человеку, а название болезни. Вот тем «алкоголизм» и хорош, что звучит легко, точно, позволяя внутри открытой названием болезни каждому медику найти свою нишу и свой кусочек для статьи в журнал или даже свою выделить отдельную группу по некоторым мелким и обязательно существенным признакам. Так можно и жить с полной уверенностью, что будешь до конца иметь цель и смысл жизни, хоть и редко кто из пациентов окажется излечен.

Так пьют и работают с пьющими уже многие поколения в человеческой истории, но Россия здесь имеет свою, по крайней мере, общую для всей нации особенность, о которой знает каждый истинный алкоголик, независимо от социального статуса и годового дохода, и которая никак не укладывается в головах их непьющих родных и друзей.

Да об этом сильно распространяются лишь там, где тебя внимательно слушает по долгу службы доктор или серые стены стационара с лежащими на соседних кроватях такими же знающими небритыми и стреляющими сигаретки соседями. Только соседи эти всё равно попросят заткнуться, когда ты вдруг захочешь рассказать про главную ошибку человечества. Похмелье — это совсем не телесная болезнь и даже не сладость духа.

Похмелье — это имя сидящего внутри тебя змея, постепенно вырастающего в дракона, и именно этот демонический дракон орёт изнутри, трясёт кишки и всю требуху, именно ему ты приносишь жертвы, которые жидким огнём наполняют его пасть, а тебе дают возможность творить такое, что дракон называется свободой твоей, ты же можешь в рожу дать даже другу многолетнему, когда этот вкрадчивый туманный голос драконьего существа вдруг убеждает, что твоя честь оскорблена или тебя просто не уважают. Да что там, жён и матерей, детей бьют, не до радости здесь.

В общем, говорить дальше об этом нет никакой нужды, так как любая русская семья либо сама, либо через соседей знает все эти одни и те же бессвязные и злые голоса рабов демона — драконьим видом своим изнутри опустошающего, прежде всего, дух человека и даже радующегося, если тело крепкое и протянет дольше других, сотворив из своей человеческой жизни начало адских ворот. Главное, довести до самых ворот и не дать опомниться. Дух человека потому и назван в русской православной традиции тем, что есть образ и подобие, что может вдруг взять и опомниться, когда и совсем, казалось, край.

Этот страшный демон пьянства, которому никогда не надоест стабильность одного и того же результата — пожирание человеческого существа изнутри с самых корневых основ, — духовную личность предпочитает разрушать первым делом, а тело и так смертно, и потому важнее не его брэнная глина, а то, что может только и вырваться в

вечность жизни, минутой счастья, день радости.

Стабильность — система, которая работает эффективно, пожирая хоть фараона, царя или императора, хоть рабов их, и сегодня остаётся прежней, пускай и изменилась уже много раз общественная жизнь, государственное устройство, да вот человек всё тот же.

Но Трофимов знал, что всё это шоу молний и всполохов внутри глазных век, рот, залипающий от мерзостного, отдающего мертвечиной сухого дыхания, головной морок — всё это лёгкая дурь головы. Он страдал, и стон не пролазил в иссохшее горло, но сидел внутри, и уже чувствовался тот страшный ад, что неизбежно загорался в кишках и тряс внутренности всё сильнее и сильнее. Трофимов точно не был дилетантом и не имел наивных надежд, что в этот раз пронесёт, отпустит. Он знал, что сейчас в нём просыпается дракон когтистый и злой, и дракон начинал требовать одного: «Дай мне огня!»

Но огня не было, как и не было уже времени на его поиски, нужно было найти что угодно жидкое и спиртосодержащее, хоть что, тогда дракон на время успокоится и можно будет успеть отправить Сашку бомжа за бутылкой, потихоньку спустив ему из окна деньги. Все родные затихли уже как час назад, они так были измучены Владимиром драконом, что лежали в комнатах тихо, крепко заснув.

Он добрался до ванной комнаты и увидел спасение — на полке стоял дезодорант. Он стянул с полки жестяную бутылочку и начал рвать её прямо зубами, он рвал её в таком неистовстве, что жестянка, казалось, стонала, всё сильнее уродуясь, и в конце сдалась. Он вырвал верх и быстро слил пенящуюся наружу жидкость в стакан, залпом залил всё в рот и резко проглотил спиртовой осадок с приторным вкусом парфюмерной отдушки. Сел на крышку унитаза и закрыл глаза. Дракон начал затихать.

Он вспомнил, как вчера жена достала из платяного шкафа пакет. Такой обычный пакет, что выдают при покупке в любом супермаркете. В пакете лежало несколько денежных пачек. Таких перетянутых тонкой жгутовой резиночкой. Трофимов понятия не имел, что это за деньги. Как он мог забыть? Сегодня ему стало страшно.

Глава 7

«Что движет Солнце и светила...»

Данте Алигьери, «Божественная комедия»

- Жизнь вообще сложная штука.
- Жизнь? — Павел покачал головой. — По-моему, ты очень сильно ошибаешься.
- С чего это вдруг?
- С того, что смерть действительно сложная вещь, а жизнь, — Павел неопределённо пошевелил в воздухе пальцами, — жизнь как раз и есть самая простая вещь.
- Ну, не скажи, порой так закрутит, что уж точно не просто.
- Да я не об этом. Просто жизнь с каждым годом становится тебе всё известнее, знакомее. Думаю, что к старости мало что остаётся человеку такого, о чём он не мог бы узнать за все прожитые годы.
- Ага, здесь-то ты, брат, и попался, — Трофимов радостно ухмыльнулся. — Не было ещё ни одного человека, который смог за жизнь всё о мире узнать, это физически невозможно.
- Да не об этом я, — Павел от досады даже хлопнул ладонью по колену. — Жизнь, она, если упростить или усложнить — неважно, она так и будет состоять из той подлости, которую ты всегда можешь получить от других. Да и сам нет-нет, а сподличаешь, хотя б по мелочи.
- Ну, по мелочи-то оно не так уж и страшно. Вон некоторые намного больше твоего пакостят, так что ты, можно сказать, и ничего такого особо плохого и не делаешь.
- Вот-вот, ничего такого. В этом-то и вся подлость, что какая-нибудь мелочь всю жизнь потом и помнится.
- Я и говорю, что всё сложно, а смерть — она одна у всех и насовсем.
- Это-то и непонятно. Смерть-то, её же не узнаешь толком, да вообще ничего про неё никогда не узнаешь, пока не помер. Потому и говорю, что сложно как раз с ней, с которой не будет всей жизни для знакомства. И чем ближе она, тем только страшнее и не хочется. Хочется жизни, ведь она-то твоя старая знакомая, она понятно, что твоя, и понятная она вся уже, привык к ней уже насмерть. А про смерть, ну как про такую вот свою, это ж даже и думать как-то странно.
- Слушай, хорош жути гнать, я теперь вообще ничего как будто не понимаю. Про жизнь, что она сложная штука, мне всегда было известно, а теперь оказывается, и со

смертью так же, а то и ещё хуже. Нет, ну если так думать, то ни жить, ни умирать не хочется. А другого-то ведь и нет ничего, выбирать-то особо не приходится.

— Да, безальтернативно выходит, здесь согласен, — Павел подошёл к окну и закурил.

— А знаешь, это ещё как посмотреть, — как-то неуверенно сказал Трофимов.

— Как?

— Да...

— На что смотреть-то, если со всех сторон либо жизнь сложная, либо смерть непонятно какая.

— Смерть понятно какая — твоя собственная, другой никакой не будет, — Трофимов вдруг изменился в лице. — Я понял, — он попробовал руками изобразить нечто, в чём, видимо, ему представлялось это понимание. — Надо в себе понять, — он продолжал двигать в воздухе руками, подыскивая нужные слова.

— Что понять-то? — Павел с любопытством глядел на соседа.

— Ну, эту, ну как говорят там, душа там, духовность, — эти слова Трофимов проговорил скороговоркой, словно стыдясь самого себя. — Ну, в смысле, про бессмертие же там идея главная, вот тогда и после гроба хоть куда и смерти никакой может и не быть в реальности. Но если и есть что такое, то эту душу почувствовать ведь тогда надо, а иначе обман один ведь, самовнушение.

— Это ты хорошо сказал, — Павел потёр себе шею, словно она устала от долгого напряжения. — Только маловразумительно. Душу почувствовать — это хорошо. Только в неё верить вначале надо, что она есть и что бессмертная, а иначе прок какой? Мы же везде прок хотим видеть, подленько пролезть через этот прок и чтобы сразу и душу, и бессмертие за наше веренье получить. И чтобы душа понятно зачем была бессмертной — для жизни вечной.

— Так, а что ещё-то надо-то, для того и нужна душа, чтоб нестрашно было жить, чтобы смерть не так уж и твоей казалась.

— А всё равно будет казаться. Ты вокруг-то посмотри, много ли народу душу свою почувствовали?

Владимир Трофимов ничего не ответил.

— А я тебе говорю, что никакой такой души впрок не найдёшь, не на рынке она торгуется. А если и торгуется, то не знаем мы рынка такого, не видим его, разучились уже или не научились ещё. Я вот заметил, что всё у нас вроде есть, но взять никак не умеем. Мы и в церковь-то идём, когда выпросить что-то себе хотим, а хотим-то дрянь всякую в основном. Наворотим и бежим «боженька помоги» или «боженька дай чего-нибудь», хоть бы палкой соседу по голове кто попросил для разнообразия.

Павел понял, что становится нравоучительно-зануден в своих претензиях к человечеству. Он понимал, что себя, как правило, исключает из осуждаемых тобой представителей общества, но это, конечно, не по причине собственной добродетели, а из вредности.

— Ну да, ну да, говорим-то мы правильные вещи, умные, рассудительные. У нас посмотреть, так после ста грамм каждый знает, как страной управлять и духовности прибавить, и благо всем по таким рассуждениям мерещится, правда, тошнит от перепоя каждого отдельно и лично.

— Да-а-а-а, — как-то неопределённо протянул Трофимов, он выглядел немного обалдевшим.

Налили ещё по одной. Выпили. Владимир отодвинул стакан. Тошнит что-то, видно накаркал.

И даже сложно было сейчас вспомнить, то ли галстук стал причиной интереса к этой области человеческой деятельности, то ли случайное посещение какой-то лекции или выставочной галереи стало причиной появления галстука. Впрочем, Владимир Павлович относился к этому более обще, как к вещам взаимосвязанным, но хронология появления их в жизни Трофимова не играет значительной роли — важна сама связь, её принципиальная и непостижимая возможность.

Об этой связи было приятно думать ночами, когда не спится от духоты или от шумных звуков внешнего заквартирного мира. Но недавно он открыл для себя особенные ночи. Ночи тишины такой глубокой, словно все разъехались по дачным участкам и по разным сторонам загородного пространства. И вдруг все эти шумные и суетливые горожане решили на одну ночь, что никогда в город не вернуться, и так твёрдо решили, что тишина стала абсолютно свободна.

Свобода и абсолютный покой наполняли тишину городских дворов. Трофимов сидел у раскрытого кухонного окна своей стандартной трёшки и просто смотрел на ночную улицу. Он каждый раз радовался, что живёт на первом этаже и ночь ему пах-

нет распаханной сырой землёй из клумб дворового палисадника. Спать в такие редкие ночи не хотелось. Тело отдыхало не во сне, а в покое ночной и свободной тишины.

Для обывателя это было опустевшее пространство, но для одного человека, для Владимира Павловича Трофимова, всё было иначе. Он чувствовал не пустоту городских кварталов, а наполненное густой и терпкой неизъяснимостью безмолвия измерение мира. Такое безмолвие звенит из самой высоты и самой глубины одновременно. Разъятые повседневной будничной толкотнёй две точки противоположных направлений на миг становятся единым целым, и в этот миг Трофимов понимал, что цельность высоты и глубины — из того, другого, настоящего мира, где они никогда не распадались. Направления вверх и вниз, стороны света, границы государств и частных владений — это категории суетливого и расчётливого материального мирка.

Но здесь открывались на миг высота и глубина, но не чего-то обыденного, географического и топонимического, а высота и глубина внутри человека и в основе мира, ставшие одним целым существованием. Эта цельность вседозвольна и ничего не требует и делится своей полнотой, но не становится неполной.

Трофимов однажды зашёл в храм и услышал конец проповеди, которую говорил немногим прихожанам пухлощёкий батюшка. Ничего особенного не отражалось на лицах слушателей, но Трофимов замер от слов священника. Тот говорил, что вседозвольный Бог ни в чём не нуждается, потому что у Него всего довольно и ничего добавить или убавить в этой полноте нельзя. И главное для человека — почувствовать эту частичку полноты в себе, эти образ и подобие, которые суть божественный дар каждому человеку. Даже ангелы не наделены этим даром, и один только человек наделён тем, что может творить, желать и выбирать, ещё и добровольно.

Раньше Трофимов не обратил бы внимания на эти слова, полагая их профессиональной особенностью работников культа, так дантисты проповедают страх кариеса и зубного налёта, а священнослужители — страх божий. Но в тот день Трофимову стал понятен ускользавший раньше смысл этих слов. А главное, что эти его состояния редких ночных переживаний полноты и покоя обрели иную ценность, потому что если и мог Владимир Павлович сейчас что-то назвать в себе образом и подобием вседозволенного Бога, то только эти приступы острой и пронзительной тишины мира, отражающегося внутри целиком и не имеющего ничего лишнего и убыточного. Он подумал, что так, наверное, и чувствуется душа, подобная Творцу и к Нему только и стремящаяся.

Так закончился у Трофимова год посещения лекций и художественных галерей. В том храме он открыл для себя то, что есть источник и причина всего когда-либо сотворённого человечеством и всего, что когда-либо будет сотворено.

Глава 8

«Говорят, что Россия — страна крайностей, нам вроде как играть — так до одурения, а в пропасть — так всей головой. Только кто говорит-то об этом, кто это вообще придумал? Дошло до того, что сами русские надёжно уверовали в это как в заповедь и национальный закон, а после уже как-то проще стало сподличать. До конца, так и до крайности — собственника в петлю, а сам в омут — и не десятку уже у старушки, а квартиру отнять. А ещё говорят, повторяют всё друг другу «брат», «братан» — Google и Яндекс брат вам, да тамбовский волк — ваш товарищ. Такая вот национальная особенность», — Владимир Трофимов раньше об этом даже не особо задумывался, только недавно начал замечать за собой подобные мысли, а с ними и физиологические особенности осмысливаемого процесса.

Сладенькая острота, где-то в кишечнике отдающая, когда про себя лихого вспоминал: «Дожил ведь я до сегодня, из 90-х дожил, бизнес организовал, а сколько там было всякого, вспомнить сейчас жутко».

Играли же до одурения, а в поездку с товаром — как в пропасть с головой каждый раз было. Приятно ведь сейчас понимать, что тогда так вот по-русски смог ухнуть, так верится сейчас, что до края смог и не побоялся. Бандитом тогда любой злобный мутант мог стать, так ведь и стали, а он не стал, не побоялся не стать. Это надо ещё не слиться, когда надо в поездку с товаром ехать, надо не трухануть и в бизнес тогда пойти. А он-то уж точно, нет, он-то уж точно и сейчас сможет, если надо будет: «Я ж так-то никогда и не боялся, выжил в самые лихие годы, в беспощадных девяностых, чего мне теперь-то не жить».

Но вот, постепенно, с годами, когда всё уже самое лихое казалось прошло и можно расслабиться, стало как-то смутно расти в душе чувство, что нет-нет, а есть во всех этих рассуждениях какой-то подвох, какая-то спрятанная на самом видном месте подлость. Что-то в том лихолетье и лихости не так, да и не может эта дурь быть главным свойством для целого народа, не выживет народ с таким главным свойством. Россия

— страна крайностей — с чего вдруг решили упиться лёгким до идиотизма лозунгом, а национального ли вообще он, лозунг такой, характера-то?

Так бывает, если вдруг замечаешь спрятанный на картинке рисунок, который к основной картинке совсем не имеет отношения, либо отношение это складывается совсем неприятное и пошлое. Например, если в сплетениях зелёных трав или древесных крон вдруг замечаешь изумрудистых оттенков ядовитую змею.

Не то чтобы вслух и декларативно, но как бы по умолчанию соглашаясь, говорил в себе с юности что-то вроде: Россия — это крайности, ведь бескраен простор земель, и русская душа из огня да в полымя всё время, и всегда это максимально, как земля бескрайняя. Всё этокое прочее бормоталось откуда-то из темноты, а твоё, такое внутреннее, человеческое существо, пройдя через одурение всех перестроек и перестроев, как-то начало смущаться. Стало в душе зарождаться что-то вроде стыда, и как-то не спешилось уже примерять на себя старые привычные шаблоны про крайность, как-то становилось об этом подозрительно неприятно думать.

Трофимов вырос там, где городская окраина наполняется частными домами, заборами и тёмными безфонарными проездами, где фонари включают в основном только кому-то под глазом. Эта окраина была такой же, как и вокруг сотен других российских городов, — глухие дворы частных домов. Там, где окраина подходит ближе к набухающим жилам города, она начинает перемежаться двухэтажками хрущёвских и прочих советских времён. Окраина больше походила на обвисшее вокруг бетонного сердца города тело. Асфальтированная дорожная паутина разветвлялась от городского центра к краю, где постепенно становилась всё более труднопроходимой гравийкой и глинистой хлябью частного сектора.

Кирпично-бетонная, сайдингово-пластиковая городская застройка словно некогда стала притягивать к себе близлежащие деревеньки и посёлочки, те подползали всё ближе и постепенно срослись с городской системой, так и не став на город похожими, даже обременяли его своими неумытыми архаичными мотивами. Если город жил товарно-карьеристской спесью, то окраина — грубостью речи. Именно таким был родной Трофимову окраинный район под названием посёлок Восточный.

Здесь не любили уехавших, тех, кто сбежал в центр. Ну, не то чтобы не любили, но скажем так, не особо приветствовали. Хотя каждый мечтал оказаться в лучшем районе, но мечты мечтами, а для жизни работать, крутиться нужно. Крутиться получалось не у всех. И тогда вступал в силу подлый подвох про крайности. Глухая грязь от колёс грузовиков, буераки и товарные вагоны прочерчивали шрамы на теле Восточного посёлка, а по колеям, шпалам и шрамам скакали туда-сюда трезвые или урывисто продвигались пьяные окраинные жители. Всё порой казалось погранично невыносимым, мрачным и беспросветным, но тем сильнее тлела искра желания свалить отсюда куда подальше, но многие так и оставались до конца дней в этих барачно-буерачных отвалах полугородского посёлка.

Владимир прекрасно знал о крайностях и беспросветах, тем более, о тех, что тянут человеческое существо на самое дно бездны с гранёным стаканом в трясущихся руках. Он много раз видел и почти добрался сам до соскальзывания без вариантов. Да, есть такой камень, запнувшись о который душа летит уже кубарем в таргарары, летит окончательно и невозвратно. Именно такое пьяное, весёлое и дикое отчаяние граничит с нелепейшими смертями под строительным забором или на зимней приподъездной скамейке. Дурная, пьяная голова шутит, хохочет страшным оскалом, безумно надрывается над стаканом бормотухи, но весь этот бессмысленный и беспощадный бунт заканчивается неизменно одним и тем же — банальной смертью при самых что ни на есть идиотских обстоятельствах.

В тот день странными непонятными путями, но Владимир запутался в своём же старом районе, где прошло детство. Может быть, он так и проехал бы мимо, только слегка улыбнувшись какому-нибудь воспоминанию. Может быть, ностальгия слегка прихватила бы сердце, то ли от знакомого звука железнодорожного семафора, то ли от вида какого-нибудь дряхлеющего у дороги тополя, на котором они с пацанами делали качелю из пожарного рукава. Но нет, остановился у магазина, зачем-то понадобилась пачка влажных салфеток. Мог бы их и на заводе, в своём офисе взять, мог бы секретарю сказать, и привезли бы хоть сюда, но вдруг решил по старой памяти сам зайти в магазин и купить.

Да, конечно, за прошедшие годы посёлок Восточный частично преобразился. Преображение касалось появления на торговых точках цветастых рекламных щитов, ну и сами торговые места облепились пластиком и новыми стеклопакетами. Если раньше продуктовый магазин выглядел складским зданием с вывеской «Продуктовый магазин», внутри с полками хлебобулочных изделий и пахнущими из-за прилавка флягами молочка, то сейчас перед Трофимовым гордо стоял одноэтажный малогабаритный вариант местного супермаркетового бренда с подсвечиваемой надписью «Мини-маркет».

На скамейке перед магазинчиком сидел местный житель. Издалека становилось понятно, что гражданин обитает здесь крепко и давно. Подходя ближе, Владимир вдруг узнал человека — это был знакомый Трофимову в детстве Сашка Волжин, только годы лежали теперь на нём грузно и грязно одновременно. Сашка зашевелился, хляпко с жуткой слякотностью закашлялся и смачно сплюнул в сторону стоящей сбоку бетонной урны.

Даже в самых криминализованных городских окраинах обязательно найдётся улица или несколько бараков, где русская душа охвачена гнилостной болезнью бессмысленности и беспощадности бытия в крайней форме. Именно в таком бараке родился и всю жизнь обитал Сашка Волжин. Отец почти сразу сгинул из Сашкиной жизни и не потому, что ушёл из семьи, а потому, что лицо его было таким же общим, как у всех мужиков их барака. Отец вроде бы сидел с собутыльниками на кухне, и он же валялся возле врытого в землю у дороги тракторного колеса.

Пить, курить и материться Сашка начал одновременно с первыми попытками внятно разговаривать. Системный запой прервался в его существовании только один раз, когда по молодости Сашку Волжина закрыли в исправительную колонию общего режима на три с половиной года за кражу катушки медного провода с территории строительного кооператива. Отбывал он в самой что ни на есть «красной» зоне, просученной и прокозлённой от начальника до тощих хлористых матрацев. Говорят, что там Саня сам ссучился до руководителя секции санитаров. Говорят, что три года в зоне жил и работал какой-то другой человек, что там оказался трудяга и активист Александр Волжин, подменивший на время отбытия срока Сашку из бараков Восточного посёлка. Какая из этих личностей являлась настоящей так, и остаётся невыясненным обстоятельством и для жителей Восточного, и, пожалуй, для самого Сашки. В «красной» зоне даже активистам не приходится сегодня иметь доступ к спиртосодержащим или другим охмеляющим жидкостям, потому Волжин предпочитал не пить и не думать об алкоголе вообще, стремясь к одному — к условно-досрочному освобождению. Правда, причина такого добродетельного стремления объяснилась сразу по выходе из колонии. Он вышел досрочно за хорошее поведение, оставив недосиженными несколько месяцев, и честно пробухал все эти месяцы не просыхая, отдавая долг пропущенным трём годам. Выйдя за ворота зоны, Волжин вдохнул как смог вольного воздуха и вдруг срифмовал: «Хватит в жизни мне пахать, надо срочно побухать!»

Весь он сейчас походил на кучу сброшенного самосвалом тяжёлого, склизкого мусора. Как-то страшно, намертво вдавливаясь ногтями в колени и чуть-чуть глядя в пространство, видел ли он шевелящийся вокруг мир, может, только отгрызок земли перед собой — бог весть. Поводя головой, будто отрицая что-то, он опять застывал тяжёлыми зрачками, и только иногда это застывшее человеческое существо предьявляло окружающему какие-то признаки жизни.

Трофимов подошёл к Сашке и сделал вид, что не было этих лет. Сашка поднял голову на остановившегося перед ним мужика:

— Чё хотел?

— Здорово, не узнал, что ли? Вовка, Трофимов, с Первомайской.

— А, Вован, ничё ты, откуда тут?

— Да... — Трофимов махнул рукой в сторону, как бы одновременно показывая и посёлок, и где-то в нём Сашкин барак. — Ты-то, это, здесь всё?

— Но. А куда я денусь-то.

— Всё бухаешь?

— А чё не бухать-то, если есть чё.

— Так это, долго уже, поди, мож, завязывать пора... Сам-то как?

Сашка даже приободрился, ибо на этот вопрос ответ он знал, как ему казалось, вполне конкретно:

— Я, Володя, буду пить до полной потери документов, всё по плану.

Трофимов достал из кармана бумажник, порылся и протянул Сашке купюру в 500 рублей:

— На вот, хоть сигарет себе возьмишь. Ну и, это, привет там всем передавай, — как-то совсем уже неловко проговорил Владимир.

Сашка покосился на дорогой джип, в котором приехал бывший житель посёлка Восточный, усмехнулся, взял бумажку:

— Благодарю, тыщу-то, чё, жалко, что ль? Так, что ль, помог и вроде как денег сильно не потратил, — Волжин опять ухмыльнулся и показались гнилые зубы, нескольких верхних зубов не было совсем.

— Ты чё, думаешь жалко мне, что ли? — Трофимов вскинулся и хотел что-то добавить, но только махнул рукой. — Ладно, мне ехать пора, давай.

Он вернулся и сел в машину, чувствуя, как в груди начинает разгораться раздражение. Да пошёл он! Ему тысячу дашь, так на неделю загуляет и содохнет где-нибудь

под забором, а мне потом живи и думай, что это я денег сдохнуть дал. На пятьсот хоть есть шансы, что крыша от привалившего бабла не съедет и, может, правда, еды какой возьмёт, сигарет каких-никаких. Да пошёл он вообще, ещё недоволен, им таким хоть чего дай, а всё недовольны, сами-то хоть бы задницу от земли оторвали.

Вспомнил, что забыл купить салфеток, ещё сильнее разозлился. Да пошёл он, до офиса доеду да возьму. Трофимов вырулил с заводской окраинной гравийки на городской асфальт.

Сашка умер через неделю, в своём родном бараке. Он сидел на ступеньках лестницы, прислонившись к обшарпанной стене и с надвинутой на глаза цигейковой лагерной шапкой. Вначале никто ничего необычного не увидел, ну, сидит и сидит себе, ведь Сашка Волжин часто залипал так в пьяном тумане, и место это на ступеньках между первым и вторым этажами было за ним закреплено надёжно и давно. К вечеру кто-то потормошил его за плечо, и шапка сползла на бок. Когда лагерную цигейку подняли, то лицо уже пошло черными пятнами. Сидячее положение тела так и застыло по форме деревянных влажных ступенек.

Когда зашел разговор о похоронах, то местная алкашня перерыла все углы барака в поисках хоть каких-то документов, чтобы по ним можно было бы получить «похоронные» на Сашку, но так ни одного листочка, ни одной бумажки об удостоверении Сашкиной личности и не нашли. Всё-таки какими-то муторными путями, но закопали в холщевом мешке, а вместо гроба взяли бесхозный старый шкаф. Рассудили, что, в конце концов, какая разница, шкаф, он тоже деревянный и тоже ящик, так чем не гроб. Похоронных денег барачным мужикам не дали, но закопать труп как-то получилось и без этих денег. Сами же барачные и закапывали. А там и вспомнили, как Волжин всё шутил в последнее время, что пить будет до потери документов. Вот и дошутился, заказал смерть-то себе бездокументовую.

Вечером барачная похоронная команда кое-как выпросила у тётки Вали самогонщицы один пузырь на пятерых, «чтоб Сашку по-людски хоть помянуть». Выпили и только расстроились. Ведь на пятерых-то оно там по стопарику одному каждому-то и вышло. А что этот стопарь-то — только расстройство одно. Так и сидели они до утра трезвые. Сидели и молчали, думали что-то своё, смутное и тревожное.

Боря-кандагар, сухощавый мужичок с острыми глазками, хохотнул, отрыгнул: «Да, мужики, а Саню мы ж хорошо закопали хоть. А так ваще никто не закопал бы. А паспорт его ж как будет. Оно ж, бабло-то, его ж кто-то всё равно заберёт. Ну, это, похоронные-то. Вот те и стреганул ж кто-то Санины похоронные-то. По-любому, себе кто взял. Вот те нормально, да. На покойниках оно ничё срубают-то».

О смерти Сашки Волжина Трофимов узнал случайно. Приехал в строящийся храм поговорить с настоятелем, прикинуть сколько-чего надо помочь. На церковном дворе к Владимиру подошла седенькая старушка:

- Володенька, я тебя даже и не узнала сначала, а потом пригляделась, так ты и есть! Трофимов напрягся, но что-то в лице бабушки показалось ему знакомым.
- Мария Ивановна. Не узнаёшь, наверно, — подсказала бабушка и улынулась.
- Мария Ивановна! Здравствуйте! — Трофимов узнал в ней свою классную.
- Да, Владимир, сколько времени-то прошло, а я вот на пенсии давно.

Классная и рассказала, между новостями о смерти соседки и строительстве у них в посёлке небольшой церквушки, что Волжин Сашка умер да что так нехорошо с найденными его документами вышло. Трофимов тогда как-то облегчённо вздохнул и подумал: «Ну вот, отмутился, бедалага, допился».

А как измучивает тебя изнутри огненный дракон похмелья, Владимир Павлович Трофимов знал совершенно конкретно. Изнутри и снаружи знал. Из самой глубины печени и кишок знал. Ещё в лихое время организации и дележа экономического пространства, когда на коммерческом фронте гремели бои по всем направлениям, ещё тогда заполз этот, жаждающий огня, дракон в самые кишки Трофимова. Тогда-то Владимир Павлович и узнал, что алкодракону вообще безразлично, бомж ты, бандит или богатеющий коммерсант — все там стриглись одним постригом, все имели одинаковые шансы на белую горячку и чёрную могильную пропасть.

Нет, вначале всё шло ровненько, дракон пришёл потом. А первая прибыль шла, без драконных закидонов, именно на развитие бизнеса. Законы жанра таковы, что если бы сразу сорвался, то никакого «потом» и никакого «развития бизнеса» не получилось бы в принципе. По сути, социальный статус граждане организуют себе самостоятельно и

в этом могут вполне себе расслаиваться на какие угодно прослойки общества, но вот запой — это дело такое, общечеловеческое, здесь только национально-языковой колорит может выделять «граждан» одной страны из таких же «господ» другой. Да, «огненной водой» самых разных уровней Владимир Павлович упробовался уже в бытность состоявшимся гражданином.

Начав более-менее серьёзно подниматься с видеосалона, Трофимов уже в том начале проявил смекалку. Он не стал организовывать просмотры в подвальных сырых и прохладных помещениях многоэтажек, где любой блатненький пацанчик из местной братвы мог забуриться и устроить тупое разбиралово. Нет, Трофимов всё постарался сделать максимально безопасным и рентабельным, организовав просмотры на базе бывшего советского ДК, в помещении небольшого кинозальчика. Раньше здесь смотрели идеологическое советское кино, сейчас же идеология резко изменила курс и наполнилась брутальными образами мастеров кунг-фу, японских ниндзя, американских командос.

Поздними вечерами проходили просмотры особого киножанра, о котором в СССР могла зайти речь только в кругах совсем распущенных и зажравшихся, а в новое время вдруг стало можно говорить всем желающим. А желающих, оказалось, хлебом не корми, дай посмотреть кинофильм с маркировкой 18+, а то и 21+, и фиговым листочком полуприличного слова «эротика». Бывшие инженеры, отставные военные, торговки с рынка, врачи, учителя, библиотекари, слесаря — на сеансах «для взрослых» мелькали все возможные варианты социального и профессионального оттенка.

Бесконечная кровавая резня и оголённые тела, мат и похоть, пот и запахи мочи — миксерная идеологическая мифология этим наивным вчерашним советским гражданам вбивалась в мозги накрепко, наглухо отбивая любое ориентирование на национальные скрепы.

Скрипели народные скрепы и трещало по швам тело национальной культуры, а Владимир Трофимов забивал в это тело свои гвоздики, вносил, так сказать, и свою лепту на безумный безликий убийственный храм поднимающегося демонического образа. Бабло текло крепким потоком, хотя стало постепенно выясняться, что развиваться необходимо совсем в других областях, ведь народ в кино может и перестать ходить, а вот питаться, одеваться, болеть и умирать человечество никогда не прекратит.

Через годы и годы Владимир понял, что они все тогда вовсе не свободу обрели, а только страх потеряли. Хватали кто сколько мог и, чтобы ухватить кусок, делали самые лихие трюки и с телом своим, и с совестью. И, конечно, за всё надо было платить, особенно за то, чтобы оставаться живучим предпринимателем с живым предприятием. Вначале платили ментам и бандитам, потом всех поглотили чиновники. Особо это ничего не поменяло, разве что прибавило тендерного и бюджетного колорита. Взятка ли, откат ли, но тот, кто это брал, у того то ли чиновничий гонор, то ли человеческая низменность неизменно сводили всё дело то к распилу, то к кидалову. Реально лихие вензеля выписывает душа человеческая, чтобы тело бухонное тучнело. А сейчас отчего-то стала нестерпимо ясной простая истина, что главная плата ещё даже не началась, вот она-то и будет основной и трудноподъёмной.

Глава 9

В крестный ход Трофимов пошёл сам и по своему усмотрению. Он решил так, если и идти, то по всем обычаям, с заморочками и усложнениями, чтоб грехи, так сказать, искупить трудностью пути. Пошёл в тощих кедах, в которых чувствовался каждый камешек и каждая впуклость и выпуклость дороги. Пошёл в сторонке от всех, сам по себе. И вот на тебе, трудности пути оказались натурально трудными.

Нога пошла куда-то в сторону, он даже не успел опереться на палку-посох. Поскользнулся, скатился как-то нелепо в овраг. Пока пытался выбраться на дорогу по острым дроблёным шлако-каменным буграм обрыва, ободрал все колени и ладони, а ещё до того разбередил правую ступню, натёр её до кровавых мозолей. И сидел сейчас у дороги, чувствуя себя полным дураком. Трофимов сидел абсолютно один, на краю побочного от крестного хода пути, тяжело протирая правой рукой пыльное и потное лицо.

Из-за поворота вышел мужик в чёрном платье. Это было не платье. Трофимов напрягся, вспомнил — подризник, такое чёрное одеяние называется подризник. На поясе поверх подризника кожаный пояс — мужик был монахом. Через плечо монаха перекинута связанная шнурками тёртая и по виду крепкие синие кроссовки.

— Устал, брат?

Монах смотрел как-то необидно, и Трофимов с надеждой спросил:

— Может, мне веры мало, или силы просто у меня нет, а?

Монах поскрёб пыльными пальцами редкую бородку на щеке, присел на камень рядом:

— А что ж вера, она тайна явная. Тайна-то не оттого, что кто-то её спрятывает, а оттого, что неизъяснима. А так-то, вот она, всегда явлена, только человекам грех потому и грех, что слепоту на явное, а зрение на мертвечину наводит, морок такой человекам на погибель, и рабство страстное. Вот так и есть. А умом-то, это ж не умом, не расчётом каким, а духом одним и постигается, и не выучить тому без веры, и тайну не узнать без веры, — монах посмотрел на оставшийся до холма впереди путь: — Ладно, брат, ты не засиживайся сильно-то, а то лень найдёт и совсем не встать будет. Потерпи за Христа-то — он терпел и нам велел, — монах ещё раз поскрёб бородку. — На вот, у меня запасные они, тебе нужда более моего-то будет.

Снял с плеча пару кроссовок, положил на землю перед Владимиром. Встал с камня, отряхнул подрысник и пошёл по дороге. Постепенно чёрная фигура уменьшилась и вдалеке стала обозначаться одинокой маленькой фигуркой человека. Эта фигурка взошла на вершину и на мгновение остановилась, словно перед прыжком с трамплина. Восход всколыхнулся от далёкого крестного знамения тоненькой руки, и человек нырнул за вершину холма.

Трофимов сидел на пыльной дороге и плакал. Он трогал руками разбитые ступни ног, натягивал старые кроссовки монаха и тихо-тихо повторял:

— Господи, Господи, дойти бы, что ли... дойти бы хоть, что ли, Господи...

Над головой вставало зенитное солнце, пронзительное и ясное, как окружающий день божий. Владимир, кряхтя и зажмуриваясь, встал и пошёл по этому подсолнечно-му пути вперёд.

«Господи, да ведь в раю-то тоже, поди, есть хозяйство какое... Может, есть там и мне место, за поросятами там управляться или другой какой живностью... Жить-то, оно не просто же хочется, надо жить-то...»

Внутри жгли печаль и острое одиночество, Трофимов почувствовал на щеках слёзы. Он хромал, утирая рукавом эти слёзы и, тихо разговаривая, поднимался в гору. Кругом головы роились и жалили в лоб, шею и щёки гнус, ноги стонали от сбитых пальцев и жгучих ободранных мозолей.

Трофимов поднимался на гору — он впервые пробовал любить.